

Структура нарратива в книге А.П. Чехова «Остров Сахалин»: архетипический и культурный подтекст

Книга очерков «Остров Сахалин» стоит особняком в творчестве А.П. Чехова. Задуманная как отчет о поездке в место «невыносимых страданий, на какие только бывает способен человек»¹, она вобрала в себя самый разнородный материал научно-социологического и публицистического характера. Пространственная точка зрения нарратора, локализованная во времени ситуацией конкретного путешествия, соотносится с объективированным повествованием, тяготеющим к документалистике. Однако изображение действительности, обогащенное культурной памятью автора и читателя, создает многоплановость повествования: наряду с идеологической точкой зрения, повествовательная структура книги содержит интертекстуальный и архетипический планы, которые стоят за изображаемыми событиями, делая текст многомерным. При этом событие хронологично, то есть фиксируется во времени и пространстве, а авторская дискурсия выводит содержание рассказа о событии в вечность и безмерность.

Художественное пространство книги о Сахалине пронизывается сквозным мотивом, корреспондирующим с мифами о Стране мертвых, что связано как с личным восприятием «каторжного острова» писателем, так и со сложившейся литературной традицией: «именно Сибирь в российском культурном сознании обрела характеристики и свойства мифологической страны мертвых»². Этот мотив возникает в самом первом очерке в описании Новониколаевска как «вымирающего города», в котором «половина домов покинута своими хозяевами, полуразрушена, и темные окна без рам глядят на вас, как глазные впадины черепа» (с. 41). Путешественнику, глядящему на Сахалин с берега материка, «кажется, что тут конец света и что дальше уже некуда плыть» (с. 45). Слова угрюмого матроса: «По доброй воле сюда не заедешь!» (с. 51) аккомпанируют мотиву путешествия в мир мертвых.

Для многих поэтов и писателей нового времени роль художественного претекста, в поэтической форме воплотившего архетипический сюжет о путешествии в Страну мертвых, сыграла «Божественная комедия» Данте, став своего рода промежуточным текстом между мифом и литературой. Как замечает А.А. Асоян, «восприятие книги поэта в России стало актом вживания в мировую культуру, приобщением художественной мысли нации к общечеловеческому опыту»³. При этом исследователь указывает, что для русской литературы конца XIX — начала XX в. был характерен культ Данте⁴, влияние которого, очевидно, не избежал и А.П. Чехов, о чем свидетельствует ряд отсылок к тексту «Божественной комедии» в очерках о Сибири и книге «Остров Сахалин».

Так, чувства оставленности, бездомности, которые испытывает повествователь, предпринявший путешествие в «место невыносимых страданий» на свой страх и риск («Гостиницы в городе нет. <...> ...На вопрос же мой, где я могу переночевать, только пожали плечами. <...> ...Я очутился как рак на мели: камо пойду? Багаж мой на пристани; я хожу по берегу и не знаю, что с собой делать» (с. 42)), перекликаются с описанными Данте чувствами поэта в начале его путешествия в Аид:

День уходил, и неба воздух темный
Земные твари уводил ко сну
От их трудов; лишь я один, бездомный,
Приготовлялся выдержать войну
И с тягостным путем, и с состраданьем,
Которую неложно вспомяну⁵.

Так же как в поэме Данте, повествователь сталкивается с запретом: «Офицер, сопровождающий солдат, узнав, зачем я еду на Сахалин, очень удивился и стал уверять меня, что я не имею никакого права подходить близко к каторге и колонии, так как не состою на государственной службе» (с. 54). Ср.:

А ты уйди, тебе нельзя тут быть,
Живой душе, среди мертвых!» И добавил,
Чтобы меня от прочих отстранить:
«Ты не туда свои шаги направил...»⁶

Если аллюзия на текст поэмы Данте неявная, то отсылка к тексту Гомера указана автором. Переправа через водную преграду сопровождается аллюзиями на путешествие Одиссея в Страну мертвых: «Душой овладевает чувство, которое, вероятно, испытывал Одиссей, когда плавал по незнакомому морю и смутно предчувствовал встречи с необыкновенными существами. И в самом деле... на двух лодках несутся к нам какие-то странные существа, вопят на непонятном языке и чем-то машут. Трудно понять, что у них в руках, но когда они подплывают поближе, я различаю серых птиц» (с. 45). Эта встреча с гиляками создает фантастическую атмосферу, реальность приобретает странные очертания. Мертвые серые птицы — «битые гуси», которых гиляки предлагают купить, — своеобразный пропуск в мир мертвых. Подобно Одиссею и его попутчикам из поэмы Гомера («...на корабль совокупно / Все мы взошли, сокрушенные горем, лиющие слезы»⁷) рассказчик испытывает чувство тревоги, приближаясь к острову: «Но настроение духа, признаюсь, было невеселое, и чем ближе к Сахалину, тем хуже» (с. 54).

Переправа на остров изображается как путешествие, полное опасностей: суда часто садятся на мель и на камни. В качестве «пропускного пункта» в «иной» мир выступает одинокая избушка у мыса Джаоре, в которой живет морской офицер г. Б., ставящий знаки на фарватере. Этот офицер исполняет роль проводника в иной мир, и чтобы пройти препятствия, нужно его задобрить. Не случайным представляется упоминание о «свежем мясе», которое посылает господину Б. командир (своего рода жертвоприношение).

И последняя деталь, отсылающая к топосу Страны мертвых, — в описании бухты, в которой корабль бросил якорь: «Выход в море сторожат три острова, или, вернее, рифа», получившие название «Три брата» (курсив наш. — В.Г.) (с. 51–52). Характерно, что речь идет именно о *выходе*, который *сторожат*. Это еще один намек на то, что остров — это преисподняя, откуда выхода нет. В XXII главе книги читаем: «...приговоренный к каторге удаляется из нормальной человеческой среды без надежды когда-либо вернуться в нее и таким образом как бы умирает для того

общества, в котором он родился и вырос. Каторжные так и говорят про себя: „Мертвые с погоста не возвращаются“» (с. 354).

К Сахалину корабль подошел вечером, открываясь перед путешественником панорама была зловещей: «Когда в девятом часу бросали якорь, на берегу в пяти местах большими кострами горела сахалинская тайга. Сквозь потемки и дым, стлавшийся по морю, я не видел пристани и построек и мог только разглядеть тусклые постовые огоньки, из которых два были красные» (с. 54). Таким образом, первое впечатление вызывает ассоциации с пеклом, в дыму которого горят два красных дьявольских глаза. Заканчивается описание прямым сравнением: «И все в дыму, как в аду» (с. 54). Утром, когда рассказчик переправлялся на катере с парохода на берег, сопровождающий его офицер на вопросы о сахалинской жизни «зловеще вздыхал и говорил: „А вот увидите!“» (с. 55). А хозяйка, у которой остановился путешественник, встретила его словами: «Заехали в эту пропасть!» (с. 57).

Мотив смерти становится постоянным в повествовании о Сахалине и его обитателях. Он появляется, например, в описании устроенного на острове начальством праздника, который наводит на каторжан «смертельную тоску»: «Ни песен, ни гармоник, ни одного пьяного; люди бродили, как тени, и молчали, как тени» (с. 65); повествователю «становится жутко», когда во время прогулки он видит «фантастическую картину»: «...навстречу по рельсам, подпираясь шестом, катит на небольшой платформе каторжный в белом», как в саване (с. 65–66).

С Сахалином связано представление о крае, границе — остров, являющийся конечной целью движения героя-повествователя, отделяет от материка «полоса отчуждения»: «Если бы птица полетела напрямик с моря через горы, то, наверное, не встретила бы ни одного жилья, ни одной живой души на расстоянии пятисот верст и больше...» (с. 51). Понятие границы двусмысленно. С одной стороны, она разделяет, с другой — соединяет. «На уровне семиосферы она означает отделение своего от чужого»⁸. Если внутренний мир воспроизводит космос, то по ту сторону его границы располагается хаос, антимир. В качестве антитезы мертвому пространству каторжного острова выступает живой мир России. Противопоставление острова России начинается с первых минут пребывания путешественника на Сахалине. Первые впечат-

ления — все здесь чужое, не такое, как в России: и природа, и условия жизни, и нравы. «...Боже мой, как далека здешняя жизнь от России!» — восклицает автор на первых страницах книги (с. 42). «Послушать каторжных, то какое счастье, какая радость жить у себя на родине! О Сахалине, о здешней земле, людях, деревьях, о климате говорят с презрительным смехом, отвращением и досадой, а в России все прекрасно и упоительно; самая смелая мысль не может допустить, чтобы в России могли быть несчастные люди...» (с. 343).

В начале книги, где описываются первые впечатления от жизни на Сахалине, появляется мысль, что весь остров — это тюрьма. Каторжане живут не только в острогах, они населяют весь остров: «звон кандалов слышится непрерывно» (с. 61); «каторжный в халате с бубновым тузом ходит из двора во двор и продает ягоду голубику» (там же); «каторжные... ходят по улицам свободно» (там же). Это мнимая свобода, так как весь остров — тюрьма.

В литературоведении принято считать, что ближайшим претекстом книги о каторжном острове были «Записки из Мертвого дома» Ф.М. Достоевского, на связь с которыми указывает сам автор. Мифологема Достоевского «Мертвый дом» обогащается у Чехова конкретным содержанием при описании острожного барака и домов, в которых живут поселенцы. Крайним воплощением «анти-Дома» выступает у Чехова острожная камера: «Общая камера не дает преступнику одиночества, необходимого ему хотя бы для молитвы, для размышлений и того углубления в самого себя, которое считают для него обязательным все сторонники исправительных целей» (с. 93). Об этом писал и Достоевский, называя каторжный острог Мертвым домом, уравнивая его, таким образом, с адом.

Чехов дает своего рода научный культурологический комментарий к описанию избы поселенца, к которому нечего прибавить: «По обстановке это не изба, не комната, а скорее камера для одиночного заключения. Где есть женщины и дети, там, как бы ни было, похоже на хозяйство и на крестьянство, но все же и там чувствуется отсутствие чего-то важного; нет деда и бабки, нет старых образов и дедовской мебели, стало быть, хозяйству недостает прошлого, традиций. Нет красного угла, или он очень беден и тускл, без лампы и без украшений, — нет обычаев; обстановка носит случайный характер, и похоже,

как будто семья живет не у себя дома, а на квартире, или будто она только что приехала и еще не успела освоиться; нет кошки, по зимним вечерам не бывает слышно сверчка... а главное, нет родины» (с. 73). Остров Сахалин — место, не пригодное для жизни, поэтому автором изображена антидомашность, которая выражается в отсутствии гармонии между человеком и его домом. Сахалин — это пространство неволи, поэтому любое жилище здесь — это лишь вариации острожного барака или камеры.

Однако автор не ограничивается только «описанием с природы», архетипический контекст обнаруживается в изображении избы поселенцев, символом беспорядка в которой становится хозяйка — «вавилонская блудница»: «...в самой избе, человек пять мужчин, которые называют себя кто — жильцом, кто — работником, а кто — сожителем. А на постели сидит вавилонская блудница, сама хозяйка Лукерья Непомнящая...» (с. 74). Хозяйка, хранительница очага оборачивается блудницей. Таким образом, вводится мотив публичного дома, которым подменяется настоящий Дом⁹.

Древний Вавилон упоминается автором неоднократно как символ разврата, разобщения людей, как Богом отвергнутый город. «Маленьким Вавилоном» назван самый крупный (по сахалинским меркам) город — центр тюремной цивилизации, описанный в книге: Александровский пост — это «маленький Вавилон, имеющий уже в себе игорные дома и даже семейные бани, содержимые жидом» (с. 157). Александровск называется в книге то «маленьким Вавилоном», то «сахалинским Парижем», очевидно, по общему для этих городов признаку — с Парижем также связаны представления как о городе цивилизации и разврата, городе излишеств, чего не хватает на острове. Жители Александровска могут позволить себе излишества: «в Александровске поселяются большею частью те, которые приезжают сюда из России, с деньгами» (с. 86). Уподобляясь цивилизованным городам, Александровск подражает им в уродливой, гротескной форме. Внешне чистый и благоустроенный город славится тем, что в нем процветают «эксплуатация инородцев и новичков-арестантов, тайная торговля спиртом, дача денег в ссуду за очень высокие проценты, азартная игра в карты на большие куши»; «женщины, ссыльные и свободные, добровольно пришедшие за мужьями, промышляют развратом» (с. 86).

Выделяется еще один город — Рыково, «настоящая деревня, без каких-либо претензий на культурность» (с. 157), в описании которого возникают гоголевские мотивы. «В Рыковском много хохлов, и потому, должно быть, нигде в другом селении вы не встретите столько великолепных фамилий, как здесь: Желтоног, Желудок, девять человек Безбожных, Зарывай, Река, Бублик, Сивокобылка, Колода, Замоздря и т.д.» (с. 157–158). Центральная площадь Рыкова навевает на путешественника воспоминания, отсылающие к «Сорочинской ярмарке», в которые врывается тюремная действительность, разрушая иллюзию: «Среди селения большая площадь, на ней деревянная церковь и кругом по краю не лавки, как у нас в деревнях, а тюремные постройки, присутственные места и квартиры чиновников. Когда проходишь по площади, то воображение рисует, как на ней шумит веселая ярмарка, раздаются голоса усковских цыган, торгующих лошаадьми, как пахнет дегтем, навозом и копченою рыбой, как мычат коровы и визгливые звуки гармоник мешаются с пьяными песнями; но мирная картина рассеивается в дым, когда слышишь вдруг опостылевший звон цепей и глухие шаги арестантов и конвойных, идущих через площадь в тюрьму» (с. 157–158).

Описывая географическое положение острова и его форму, автор проводит параллели с Рязанской губернией и Крымом, которые звучат неожиданно и парадоксально: «Сахалин лежит в Охотском море, загораживая собою от океана почти тысячу верст восточного берега Сибири и вход в устье Амура. Он имеет форму, удлинненную с севера на юг, и фигуру, по мнению одного из авторов, напоминает стерлядь. Северная часть Сахалина, через которую проходит линия вечно промерзлой почвы, по своему положению соответствует Рязанской губернии, а южная — Крыму» (с. 53).

Северный Сахалин более обжитой, природные условия в этой части острова более благоприятные. Очевидно, поэтому о новом округе в северной части острова говорят на Сахалине как о земле Ханаанской: «На Сахалине я застал разговор о новом проектированном округе; говорили о нем, как о земле Ханаанской...» (с. 165).

В библейских справочниках сказано, что Ханаанская земля отличалась необыкновенным плодородием, обилием пастбищ, удобных для скотоводства, и в этом смысле назы-

вается в Писании землею, текущею млеко и медом. Вся земля была занята многочисленными народами. На ней процветало хлебопашество, виноделие и торговля. В Ветхом Завете Господь наставляет Моисея, как устроить землю Ханаанскую. Среди прочего сказано: «...города будут им для жительства, а поля будут для скота их и для имения их и для всех житейских потребностей их...» (Числ. 35: 3); «Из городов, которые вы дадите левитам, будут шесть городов для убежища, в которые вы позволите убежать убийце; и сверх их дайте сорок два города...» (Числ. 35: 7). Далее уточняется: «...выберите себе города, которые были бы у вас городами для убежища, куда мог бы убежать убийца, убивший человека умышленно; и будут у вас города сии убежищем от мстителя, чтобы не был умерщвлен убивший, прежде, нежели он предстанет пред обществом на суд» (Числ. 35: 11–12). Таким образом, сравнение нового сахалинского округа с Ханаанской землей, представляется неслучайным. Подобно городам Ханаанской земли, сахалинские города были убежищем для преступников, куда они были изолированы от общества.

В результате сравнения Александровска с Парижем («сахалинский Париж») и Вавилоном («маленький Вавилон»), а нового сахалинского округа с Ханаанской землей Сахалин вписывается во всемирную историю. Остров — отраженный в миниатюре мир со всеми его приметам. Чехов прибегает к сравнениям как из библейских, так и из новых времен, подчеркивая, что пороки цивилизации на острове проявляются еще резче.

Характерно, что автор подробно описал прибытие на остров Сахалин, поездки по городам и поселкам, но в книге не описывается дорога оттуда. Создается впечатление, что обратной дороги нет. И в этом случае авторский дискурс коррелирует с литературной традицией, по поводу которой пишет В.И. Тюпа: «Уникальное взаимоположение геополитических, культурно-исторических и природных факторов привело к мифологизации Сибири как края лиминальной полусмерти, открывающей проблематичную возможность личного возрождения в новом качестве и соответствующего обновления жизни»¹⁰. Представляется, что автор неслучайно заканчивает повествование не отъездом, а темой болезни («Глава XIII. Болезненность и смертность ссыльного населения. — Медицинская организация. — Лазарет в Александровске»).

Символично книга завершается описанием топоса болезни. Лазарет — это больное пространство, оно на границе между жизнью и смертью. Мотив смерти, который прочитывался в различных описываемых автором ситуациях, семантически связанный с островом, как миром инобытия, усиливается мотивом болезни. В книге изображен больной мир; Сахалин — это язва, которая требует излечения. Чехов с врачебной прямотой ставит диагноз больному обществу, превратившему остров Сахалин и его богатую природу в остров Смерти.

Автор книги «Остров Сахалин» предстает как художник, создавший произведение с мощным архетипическим подтекстом, выводящим повествование о сахалинской каторге в широкий культурный контекст и наполняющим изображаемые картины вечным содержанием.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Чехов А.П. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. М.: Наука, 1974–1983. Т. 14–15. М., 1978. С. 329. Далее ссылки на этот том издания даются в тексте статьи с указанием страницы.

² Тюна В.И. Мифологема Сибири: К вопросу о «сибирском тексте» русской литературы // Сибирский филологический журнал. 2002. № 1. С. 27.

³ Асоян А.А. Данте и русская литература. Свердловск, 1989. С. 153.

⁴ Там же. С. 100.

⁵ Данте А. Божественная комедия. Новая жизнь. Стихотворения, написанные в изгнании. Пир. М.: Рипол Классик, 1998. С. 25.

⁶ Там же. С. 33.

⁷ Гомер. Сочинения: Поэмы. Гимны и эпиграммы. М.: Книжная палата, 2002. С. 767.

⁸ Лотман Ю.М. Семиосфера. М., 2000. С. 258.

⁹ Публичный дом не входил и даже противостоял нормативному, освоенному локусу — дому, другими словами являлся пограничным. «Локус публичного дома в культуре и литературе также подвергается аксиологической акцентировке, но по отношению к жилищу и другим семиотически значимым пространствам культуры является инверсионным» (Мельникова Н.И. От локуса публичного дома к топосу проституции в русской литературе // Коды русской классики: «дом», «домашнее» как смысл, ценность и код: Материалы III Междунар. науч.-практ. конф., посвященной 90-летию со дня основания и 40-летию со дня возрождения первого классического Самарского государственного университета в Самарском крае. Самара, 19–20 ноября 2009 г.: В 2 ч. / Отв. ред. Г.Ю. Карпенко. Самара: Изд-во «СНГЦ РАН», 2010. Ч. 1. С. 98).

¹⁰ Тюна В.И. Мифологема Сибири. С. 28.